

## ЗАМЕТКИ ЛИТЕРАТУРОВЕДА

# Писатель нашего времени

Чехов родился 29 января 1860 года. Юбилей отмечен, отшумел его апогей, чеховское время вошло в обычную колею. Было в прошедшем юбилее, как бы сказал сам Чехов, много «и хорошего, и дурного... Хорошего было больше».

Писать о Чехове сегодня, когда созданы о нем — и у нас, и за рубежом — буквально Монбланы статей и книг, трудно, но неисчерпаемость его художественной мысли, обладающей свойством каждому времени поворачиваться неожиданными сторонами, оправдывает появление новых интерпретаций его творчества, тем самым способствуя неостановимому движению общей мысли о мире и человеке. Чеховское творчество сегодня для читателей всего мира как тот философский оселок, которым поверяется человеческая истина, как тот живой источник духовности, который питает интерес к вечно ускользающим от разрешения общим вопросам Бытия.

Чехов и при жизни был одним из самых востребованных писателей: издатели ведущих газет и журналов конкурировали за право публикации его произведений, за возможность постановки его пьес боролись и столичные, и провинциальные театры, большинство его произведений, едва появившись в России, незамедлительно переводились на иностранные языки. В отличие от многих писателей, например, Достоевского или даже Горького, в соответствии с острыми колебаниями политического климата в стране Чехов никогда не попадал под запретительный пресс, можно сказать, был предметом перманентного осмысления и литературоведов, и театральных критиков, при этом всегда сохранялся соблазн сделать писателя знаменем времени, приспособить к служению господствующему направлению мысли.

В канун революционных событий начала XX века критика жадно ловила в произведениях Чехова нарастающие ноты бодрости и здоровья в связи с нетерпеливым ожиданием грядущих перемен, и высказывание чеховского героя из рассказа «Невеста» (1903), что «главное — перевернуть жизнь, а все остальное не важно» предстало как истинное убеждение самого писателя. Чеховедение советского времени усилению педалировало мотив закономерной смены общественно-экономических формаций («Вишневый сад»), остроты социальных конфликтов в повестях и рассказах «Случай из практики», «Бабье царство», «Три года», «В овраге» и др., рутинно-пошлому существованию человека в прошлом и неизбывной мечте его о другой, счастливой и радостной жизни, сопряженной с предчувствием неизбежных перемен, осуществлением которых и явился Октябрь.

Таким образом интерпретировать чеховские произведения оказывалось возможным благодаря особому характеру их чтения, не в соответствии с внутренним смыслом их текста, а как бы поверх него, минуя подтекст, подводное течение, несовпадение позиций автора и героя, сложную полифонию смысловых дискурсов, исходящих из столкновения жизненных позиций героев и т.д. Однако и сегодня, когда в творческой идентификации Чехова произошло заметные сдвиги и появилось немало работ, способствующих освобождению образа писателя от многодесятилетних мифологических наслоений, градус жадного интереса к его творчеству в смысле все того же неукротимого желания, выражаясь словами Бахтина, «пристегнуть» к какой-либо модной концепции не понижается. В соответствии с расшатанной моралью нового общества не минует опасности превратиться в потребительский бренд и имя Чехова, под прикрытием которого возможны становятся опасные мыслительнотэтические эксперименты.

Особенно уязвимой в этом отношении оказывается чеховская драматургия. В преддверии Большого юбилея отметиться спектаклями на основе обновленных версий чеховских пьес сочли своим правом и долгом все ведущие театры страны. По каналу «Культура» показали «Дядю Ваню» в постановке Льва Додина, спектакли по этой пьесе идут в Театре им. Вахтангова (реж. Римас Туминас), Александринском театре (америк. реж. румынского происхождения Андрей Щербан), в режиссуре Марка Захарова представлен «Вишневый сад» в театре «Ленкома» и т.д. При абсолютной неоспоримости убеждения в том, что для постижения глубинного смысла пьес Чехова «их нужно читать «медленно», как пушкинского «Бориса Годунова» и что «только прослеживая все уровни текстовой организации пьес, можно понять и далее сценически воплотить житейскую и философскую сложность драматургических созданий нашего отечественного художественного гения», ни об одном из этих спектаклей нельзя сказать, что правило бережного отношения к авторскому

тексту соблюдено в них хоть в малой степени.

Современный режиссер ничтоже сумняшеся исходит из права бесконтрольного манипулирования драматургическим текстом Чехова, подменяя задачу донесения его внутреннего смысла до зрителя ложным новаторством в русле удовлетворения гламурных вкусов публики, ищущей в театре не утоления духовной жадности, а всего лишь развлекательного действия и чувственных наслаждений. Отсюда акцент не на остроте психологических переживаний героев, их мучительном стремлении понять свое человеческое предназначение, цель и смысл пребывания на земле, а на их фрейдистских комплексах, сексуальных влечениях, любовных страстях. Справедливости ради следует сказать, что смелые коррективы в сценическую жизнь чеховских пьес способной оказывается вне сегодня театральная критика, искренне возмущенная практикой «пристегивания» чеховских пьес к обслуживанию потребительской морали и теми опасными играми, которые ведет современный театр с именем Чехова. Открытым текстом сказано и о превращении спектакля «Вишневый сад» в Ленком в «забавный капустник», и о том, что сосредоточиваясь на внешней стороне действия, «к диалогам, как правило, относятся без особого интереса», и даже о том, что вообще к пьесе Чехова спектакль может иметь «отдаленное отношение»... Дальше ехать, как говорится, некуда!

К счастью, у читателя не отнято право соприкосновения с подлинным текстом чеховских произведений, сохраняется возможность «медленного чтения» с проникновением в их сокровенные глубины, убеждающего в неостановимом устремлении творческих исканий писателя к постижению вечных и неотменимых законов Бытия и в этом смысле тайны человеческого существования. Упрямым попыткам социологизировать и прагматизировать художественный мир Чехова, сведя его к обличию господствующей среды, имущественного неравенства, правового бесправия, торжества мешанской пошлости, противостоит неопровержимая живая реальность его эстетики и поэтики, с особой силой актуализирующей сегодня внимание к глубине чеховской мысли о человеке как субъекте Вечного Бытия.

Не будет преувеличением отметить то ни с чем не сравнимое внутреннее воздействие, какое возымела на творческий труд писателя его «конно-лошадина» — через всю Сибирь — поездка на Сахалин, являвшаяся выражением «самокомандировочной» («Я сам себя командую, на собственный счет», — говорил он, настойчиво проверяя слухи, что его «будто кто-то командует туда») потребности разобраться в самых существенных вопросах человеческого бытия-существования. По существу сибирской поездки — и непосредственно ей посвященными произведениями, каковыми явились дорожные письма издателю Суворину, родным и знакомым, очерковый цикл «Из Сибири» и документально-публицистическая книга «Остров Сахалин», и всем последующим творчеством — Чехов отвечал на вопросы онтологической значимости, восходящие к его представлениям о высших ценностях жизни, и главной в их числе оказывалась человеческая способность к самостоятельности, воля к жизни в согласии с вечными законами земного мироустройства, в силу чего в сегодняшнем чеховедении на первый план выходит понимание феноменологической и экзистенциальной природы художественной мысли писателя, бытийственной силы и высоты его взгляда на человека.

Главным итогом поездки оказалось то, что выдержала проверку мощным хронотопом Сибири чеховская антропология, вера в человека как такового: огромный потенциал его возможностей и высокую меру способностей управлять им. Сибирь представила писателю возможность увидеть человека не столько в преодолении препятствий, чинимых другими людьми по соображениям выгоды, наживы, власти, сколько в ситуации, что называется, чистой экзистенции. Именно здесь Чехов столкнулся с самым что ни на есть первоисходным началом человеческой природы — волей к жизни, измеряемой силой живого, непосредственного противостояния нехватному пространству, суровому климату, природным стихиям, и отменяющей заранее придуманные правила поведения, исходящие из абстрактных теорий объяснения жизни. Реально предположить, что именно благодаря встрече с Сибирью могло по-

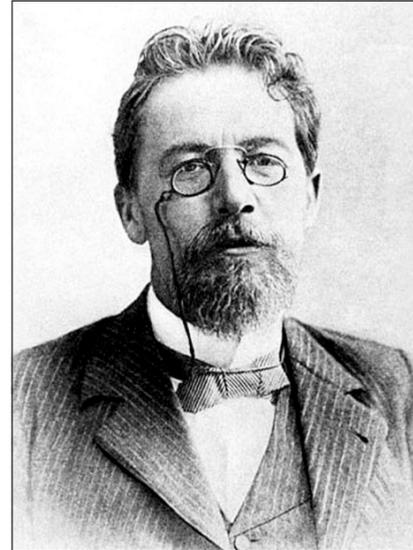
явиться у Чехова такое произведение, как «Рассказ старшего садовника» (1894), где мотив веры в человека предстает как его программное заявление, особая значимость которого подчеркнута финальной акцентированностью произведения: «Вера в человека, вера, которая ведь не остается мертвой; она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого! А это важно».

«Мое сибирское богатство», — скажет по возвращении домой Чехов о своей поездке и, действительно, сибирская эпопея отозвалась на последующем творчестве писателя мощным духовным и поэтико-смысловым приращением: оно без преувеличения оказалось «просахалиненным» новыми и необра- тимыми впечатлениями бытия. Заметно обозначилось стремление к эпическому началу повествования, к уплотнению жанровой сути произведений, тяга к созданию новых для него больших художественных форм, что нашло свое отражение в своего рода авторских проговорах. «Пишу роман для «Нивы», — сообщил он И.Потепенко о начале своей работы над повестью «Моя жизнь». И действительно, если повести «Бабье царство» (1894), «Три года» (1895) или «Моя жизнь» (1896) «тянут» на романы, то рассказы, подобные «Дому с мезонином» или «Невесте» — на повести.

Видно, как с течением времени меняется персональный ряд чеховских произведений: все заметнее становится фигура умудренного жизненным опытом старика, в своем роде носителя общего взгляда на мир, духовно-этического кредо и философии жизни. На них лежит явственный отпечаток характера тех сибирских людей, которые неотступно сопровождали Чехова на пути следования к о. Сахалин — проводники, паромщики, ямщики, почтальоны, которые стоически выполняли свой служебный и человеческий долг, не отделяя одно от другого, делали свое дело с глубоким сознанием его нужности для других. Это и безымянный старик из повести «В овраге», нашедший слова утешения для женщины, возвращающейся из больницы с мертвым ребенком на руках: «Ничего... Твое горе с полгоря. Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия!.. Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал... Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил: значит, хорошего было больше». Это из той же повести старый Костыль, убежденный в первенствующем значении людей труда и сумевший отстоять честь и достоинство плотника от фанатерийского натиска купца первой гильдии: «Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело наше праведное, богоугодное... Кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки!.. Оно так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше».

В ряду этих носителей неизбывной правды обращает на себя внимание близостью к чеховскому восприятию никем не отмеченного подвига сибирских почтальонов фигура старика-сотского («цоцкай», как называет он себя) из рассказа «По делам службы» (1899), который, зная цену суровых превратностей жизни по формуле «было у Мокея четыре лакея, а теперь Мокей сам лакей», вот уже тридцать лет беспрепятственно «ходит по форме», в любую непогоду — жару, мороз, метель, «от человека к человеку» разносит служебно-деловые бумаги — повестки, бланки, окладные листы, оставляя повествователя в убеждении, что вот он уедет опять в Москву, «а этот старик останется здесь навсегда и будет все ходить и ходить; а сколько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно нечесанных, «несташных» стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились пятиалыничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не проживешь».

Вот это чеховское «неправдой не проживешь», представляющее как этический императив, как абсолютную формулу и норма человеческого поведения, воспринимается как своего рода эпиграф ко всему постсибирскому — после 90-го года и до конца жизни — творчеству писателя, и как феноменологически действующий закон распространяется на всех членов общества, равно и бедных, и богатых, или, как любил повторять писатель, «на каждого!». Своеобразие такого рода про-



изведений, обращенных к изображению жизни владельцев многомиллионных состояний и составляющих цельный цикл, как повести «Бабье царство» (1894), «Три года» (1895) и рассказ «Случай из практики» (1898), состоит в том, что не минуя остроты социальных противоречий между работниками и работодателями, автор тем не менее акцентирует внимание на разлаженности внутреннего мира самих хозяев жизни. Томится неизбежностью «обманывать свою совесть» наследница промышленного предприятия Анна Акимовна: его работа производит на нее «впечатление ада». Не испытывает радости от свалившегося на него богатства наследник многомиллионного торгового дела Алексей Лаптев. Преисполнена непонятной душевной тревогой и страдает от бессонницы единственная дочь владелицы ткацкой «фабрики из пяти корпусов» госпожи Ляликовой. И работающие на их предприятиях люди не предстают жертвами их жестокости или померной жадности: несчастливы, обременены «хроническими страданиями, коренная причина которых была непонятна и неизлечима», и те и другие, при этом хозяева даже в большей степени, чем их рабочие, ощущают над собой власть непонятных, каких-то надличностных сил. Герою рассказа «Случай из практики» доктору Королеву эти невидимо-непознанные силы видятся в образе «чудовища с багровыми глазами, самого дьявола, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал тех и других». Герою же рассказа «По делам службы», написанного на другой год после «Случая из практики», эти силы представляются уже в виде «какой-то связи, невидимой, но значительной и необходимой», которая существует «между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно одной общей мысли, все имеет одну душу, одну цель, и, чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем». Вот поэтому доктор Королев и считает, что у дочери госпожи Ляликовой «почтенная бессонница», которая куда лучше тупой душевной самоуспокоенности: «как бы то ни было, она хороший признак: мы... наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет»...

Не удивительно, что в творчестве позднего Чехова зримо возрастает смысловая плотность художественного текста, усиливается рефлексивный элемент, мыслительное начало существенно теснит событийное, герои испытывают острую потребность в определении субстанциальных координат жизни, тягу к философствованию: «Ужасно хочется философствовать», — признается Вершинин в пьесе «Три сестры». Повествовательный текст полнится борьбой мнений, взглядов, разных точек зрения, обретая поразительную полифоническую остроту и динамичность, когда все новые вопросы, сталкиваясь друг с другом, предупреждают опасность скородумных ответов. И то еще важно, что образные к разным сторонам действительности, многообразно тем, проблем, человеческих типов и характеров чеховские произведения как бы продолжают друг друга; переплетаясь и пересекаясь в поисках ответа на главное в жизни, они оказываются связаны общей логикой художественной мысли, неостановимым движением ее создавая у читателя ощущение единого и цельного текста, захватывающего эпической силой и глубиной, когда и сам автор, выражаясь словами героя из рассказа «По делам службы», «свою жизнь считает частью этого общего и понимает это».

Л.П. Якимова, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН, д.ф.н. (Окончание в следующем номере)